

Волнующий и страшный нас языковой строй Платонова есть строй умышленный, сконструированный специальным попечением автора. Для чего? Очевидно, для того, чтобы быть услышанным нами, читателями. Расчет был верен — а сила платоновского гения такова, что был создан совершенный и обширный языковой мир, параллельный нашему. Этакая новая Вселенная, касание с которой — как и с любимым Иным — так пугающе и привлекательно.

Остается только гадать об умысле автора, создавшего язык, который, бывает, снится как особое существо, у которого все, как у обычных существ, но иначе — рог из брюха, крылья из головы. Тут не Босх, а легио — взяли язык, разобрали, потом собрали не так, как раньше. Оставив зазор, откуда тянет ледяным ветром — дыханием Иных.

Откуда этот ветер? Есть варианты. О некоторых — заметки ниже.

Языковая эссенция

Хорошо известно, и не только в России, послесловие Иосифа Бродского к «Котловану» — прежде всего благодаря тому, что оно напечатано именно на Западе. Это немаловажное обстоятельство, поскольку объясняет тот пыл, с которым нобелиат обрушивается ни много ни мало на русский язык.

Так вот, согласно Бродскому, «...с одинаковым успехом можно сказать, что он заводит русский язык в смысловой тупик или — что точнее — обнаруживает тупиковую философию в самом языке». И далее: «...Платонов говорит о нации, ставшей в некотором роде жертвой своего языка, а точнее — о самом языке, оказавшемся способным породить фиктивный мир и впавшем от него в грамматическую зависимость». Речь, по мнению Бродского, идет «о зависимости писателя от самой синтетической (точнее: не-аналитической) сущности русского языка, обусловившей — зачастую за счет чисто фонетических аллюзий — возникновение понятий, лишенных какого бы то ни было реального содержания».

Инвективы Бродского, разумеется, абсурдны. Нет языка изначально «хорошего» или «плохого», «красивого» или «некрасивого» — как и полностью аналитического или полностью синтетического. Да и вывод о том, что синтетичность русского языка прямо связана с «возникновением понятий, лишенных содержания», и не доказан, и недоказуем.

Но важна сама точка зрения: Платонов доводит все существующие черты и складки нашего языка до верхних пределов, до абсурда. Язык его прозы — это концентрированный, «сгущенный» русский язык; платоновские языковые изыски есть лабораторная работа, по «выпариванию» нашей языковой эссенции. И эссенция эта, по Бродскому, ужасна. От этого и поражающий нас, читателей, эффект.

Платонов якобы демонстрирует злокозненность русского языка, его изначальную манипулятивность. Подчеркну: речь идет именно о русском, прочие языки, очевидно, такой болезнью не болеют.

Сорок пять лет спустя нападки Бродского на русский язык получили поддержку от американского филолога Михаила Эпштейна. Он предлагает ни много ни мало радикально изменить нашу грамматику — будучи недовольным тем же, чем и Бродский.

«Русский язык и так избыточно синтетичен, т. е. передает грамматические значения морфологическими средствами, меняя форму слова (склонение, спряжение), тогда как основные европейские языки давно уже движутся по пути аналитизма, перекладывая решение формальных вопросов на грамматику. Например, используя предлоги вместо падежных окончаний. Увы, российский подход идентичен в политике и в языке: ручное управление вместо выстраивания системы, которая работает сама по себе».

Понятно, что отстали мы от просвещенной Европы, вот и с демократией проблемы — а все из-за языка. Эпштейн далее предлагает избавиться от тоталитарных склонений и спряжений, приводя в пример, разумеется, английский: «слово «chair» обозначает и собственно стул, и председателя, кем бы он ни был: мужчиной или женщиной. И никто не путает этих значений, поскольку они четко проясняются из контекста. Никто не воспримет «chair» в подписи или резюме как обозначение стула, а половая принадлежность выясняется из имени».

В итоге фраза «Платонов был автором романов» будет звучать примерно так «Платонов делал роман-авт». Пожалуй, это куда радикальнее опытов самого Платонова.

Голос послежизни

Бродя днем по солнечному двору, он не мог превозмочь свою думу, что человек произошел из червя, червь же — это простая страшная трубка, у которой внутри ничего нет — одна пустая вонючая тьма («Чевенгур»).

Привычно адресуясь к современному каталогу Иных, легко находишь место для платоновских героев. Выходит, что язык Платонова — язык инопланетян, зверей, ангелов, а скорее всего, мертвых. Это у них, как любил напоминать Шкловский, все «не так» — одеваются не так, шнурки не завязаны, движутся лежа, еще и ногами вперед. И язык у них, мертвецов, само собой, звучит иначе. В русской литературе есть несколько его описаний. «Звуки глухие, как будто рты закрыты подушками; и при всем том внятны и очень близкие», а затем «долгий и не-

истовый рев, бунт и гам... нетерпеливые до истерики взвизги («Бобок»). Или в «Пикнике на обочине» — детский ужас, горланно и непонятно переговаривающиеся между собой зомби-отец Шухарта и его дочь-мутант....

Можно вспомнить и Николая Федорова, с которым Платонов вел такой напряженный и злой диалог, закончившийся все-таки неприятием самой знаменитой части федоровской догмы. Демонстрируется: мертвые воскресли, населили этот мир, говорят своим языком — но ничего хорошего из этого не получилось. Только ужас и постапокалипсис.

Кстати: пассаж про то, что язык Платонова есть язык сбывшейся утопии, тоже из этого ряда. Утопии, они же Антиутопии, наступают после Апокалипсиса (который проигравшими и победившими оценивается по-разному, как Революция, например). Человек Чевенгурский — это *zombi sapiens* коллективистского светлого будущего. Еще один шаг в сторону современных веяний — и мы увидим в «Чевенгуре» зомби-эпопею. Ничего даже *подрисовывать* не надо, как в модных мэш-апах (вроде «Гордости и предубеждения и зомби»).

Впрочем, довольно пошлостей. Все вышесказанное — не про Платонова.

Во-первых, само по себе предположение выглядит странно (но откуда тогда ужас, разлитый в слова персонажей и самого автора?!).

Во-вторых, вспомним, как он язвил по поводу известного персонажа Александра Грина, мол, легко быть Ассолью в Зурбагане, ты в Мелитополе попробуй — также и тут: заставлять мертвых разговаривать на непонятном языке большого усилия не требуется. А вот дать такой язык живым, да еще и современникам — нужен, как минимум, повод.

В-третьих, зададимся вопросом, откуда столько зомби в современной культуре? Как установлено британскими учеными (шутка — французскими), смерть есть наиболее табуированное означающее социального дискурса. А потому тема смерти отовсюду вытесняется особенно мощно.

У Платонова со смертью отношения принципиально иные. В его прозе умирают не просто отдельные герои, а, кажется, все; постоянно, ежедневно, ежечасно; запросто. Табу на смерть — это

точно не про его мир. Нечему вытесняться, неоткуда взяться горящим на особом языке мертвецам.

Революционная антигазета «Чевенгурская правда»

И все-таки это язык не мертвых, а наоборот — по-настоящему живых (с точки зрения автора). Разберемся на примере «Чевенгура». (Но здесь же и «Котлован», и другая ранняя проза Платонова, в которой отход от стилистических норм «нормального русского» особенно заметен).

Как-то забывается, что «Чевенгур» написан молодым — а по нынешним временам, и очень молодым — автором. Закончившему книгу Платонову не исполнилось и тридцати, человеком и писателем он был бескомпромиссным. Отнюдь не гуманистом и религиозным мыслителем, но приверженцем авангарда — что художественного (Крученых и Хлебников в «Чевенгуре» как дома), что философского (тот же Николай Федоров).

Собственно, проще всего сказать, язык платоновской прозы конца 20-х — начала 30-х — это язык авангарда, то есть он сразу был запрограммирован на необычность и малопостигаемость. Однако авангардизм Платонова нельзя рассматривать без выполняемой его прозой социальной задачи.

То, что нам, мирным гражданам, кажется нечеловеческим ужасом, кровавой бойней, для Платонова, человека своего времени и своего взгляда на мир (о нем позже), было чем-то вроде мистерии, закономерной и величественной, причем индивидуальная смерть здесь в расчет не бралась в принципе.

Гораздо больший ужас и отвращение у автора «Чевенгура» вызывает буржуазная, филистерская жизнь, что дореволюционная, что новая, нэпмановская. А еще — народившаяся советская бюрократия. Бюрократия связана с бумагами, ненавистными платоновским героям, бумаги — с чтением, а чтение — с официальными циркулярами (например, письменными рекомендациями в партию) и газетами.

Но с газетами особо. К 1929 году уже заканчивался первый этап

насильственного (насилие, конечно, было разного толка, но без него не обходилось) обучения грамоте. По официальным данным, через это прошли 10 миллионов человек. Еще до принудительной коллективизации жители революционной России были подвергнуты столь же принудительной медиатизации (термин употребляется в современном значении — как проникновение медиа во все части социального организма). Между двумя истинно свинцовыми временами — Революцией и Большим Террором — люди были основательно, до костей вылизаны «свинцовым языком Гутенберга».

Любимые герои Платонова ненавидят чтение и письмо. «Чепурный ничего не читал...

— Да и не нужно читать: это, знаешь, раньше люди читали да писали, а жить — ни черта не жили, все для других людей путей искали». «Пишут всегда для страха и угнетения масс. Письменные знаки выдуманы для усложнения жизни. Грамотный умом колдует», — неодобрительно замечает Копенкин. Саша Дванов мечтает, чтобы большинство неграмотных отучило грамотных от букв «для всеобщего равенства». Что важно: прямо противоположное чувствует Порфирий Дванов, испытывающий «сладо-страстие» при подготовке бумаг.

Дихотомия «устное-письменное» прочитывается как «свое-чужое», «ненасильственное-насильственное» (а также, как отмечает Х. Гюнтер, «глупое-умное», причем «глупы», то есть, рассуждают сердцем, а не умом и Копенкин, и Саша Дванов, и Чепурный).

Медиатизация насильственно колонизировала, иссушала жизненный мир человека, загромождала его тем, что больше всего ненавидел Платонов — формалистикой и экзистенциальной пустотой. Не тема жизни и смерти отдельного человека волнует автора в «Чевенгуре» (тем более что он уверен: есть и возможность обратного хода), но омертвление социальной ткани, того, что было одушевлено Революцией. Предательство! Платонову, который в «Чевенгуре» гораздо левее Советской власти, превращающейся в Империю, мало дела до «традиционных ценностей». Для него враждебна, то есть контрреволюционна мысль говорить «правильно» — то есть нормативно — то есть по «писаному».

Герои и автор «Чевенгура» говорят (и мыслят) как угодно, но не языком газетных передовиц. Это язык сопротивления,

язык *назло*. Он, секретный, вполне понятен самим героям, *своим* (не случайно столько говорилось в тогдашней критике о «табарском языке» Платонова, о «юродивых», населяющих его книги) и крайне непонятен и даже отталкивающ для остальных. Можно и нужно коверкать слова, изобретать шизоидные конструкции и окказионализмы. Лишь бы не оказаться на стороне «умного», «письменного», «газетного».

Перед нами абсолютная «антигазета». Чтобы получить представление о стиле «Чевенгура», нужно взять характеристики так называемого публицистического стиля и вывернуть наизнанку. Вот, например, по современному источнику: «экономия языковых средств, лаконичность выражения при информативной насыщенности текста; отбор языковых средств с установкой на их доходчивость; тенденция к языковому стандарту, так как необходимо быстро и доходчиво передать информацию». Все это про роман «Чевенгур» — но с приставкой АНТИ.

Но что стиль! Автором намеренно уничтожается линейная (читай: письменная, читай: рассудочная, читай: властная) языковая логика. И здесь молодой Платонов находится вполне в системе эстетического авангарда, как своего, так и всех последующих, вплоть до нынешнего, времен.

Что же было дальше? Через 10 лет девяносто процентов жителей европейской части СССР могли — а значит, и обязаны были — ежедневно читать газеты и прочие циркуляры. Чевенгур был уничтожен, Саше Дванову больше не о чем было бы мечтать — грамотные получили подавляющее преимущество.

А сам повзрослевший Платонов сумел примириться и с «грамотой», и с «умом» (считается, это было отражено в его статье к 100-летию смерти Пушкина, работе, заслуживающей, конечно, отдельного разговора). Да что там: с конца 30-х он начинает много публиковаться в периодике как журналист. Ну да, для заработка; но и потому, что Платонова стало волновать иное, чем во времена «Чевенгура». Не оттого ли изменился и язык его прозы? Тут уже не с Советской властью счеты, а с мирозданием. Не политика — онтология.

Но революционную чевенгурскую антигазету мы все равно будем читать всегда, и вот — видеть во сне.